

ЗИМА

За долгую-долгую сибирскую зиму можно вырасти на несколько сантиметров, выправить кривой зуб усилием воли и — против всех правил хранения продуктов — заморозить и разморозить собственное сердце несколько раз. Это осень для смертей, двусторонних пневмоний и тоскливых кардиоцентров с бесконечными коридорами, зима — для тихой жизни, вкрадчивой, как едва различимый разговор соседей за стенкой.

1

Мне пять лет, может быть, шесть, но точно не семь, потому что мама все еще работает в Никольской церкви. Кажется, это ее последняя зима в Никольской, потому что летом, когда ее уволят, она будет лежать — лицом в потолок — на кровати в бабушкиной комнате, насквозь, до плинтусов, пропитанной солнцем (бабушкина комната на восточной стороне), и слезы, как это бывает, когда человек сталкивается с настоящим черным горем, двумя

длинными серпантинными нитями будут течь из ее широко открытых неморгающих глаз и она не будет даже пытаться этому препятствовать.

Хочешь выхватить из зимних повседневных чудес, из всех этих «шалостей фей и дел чародеев» что-то явное, точно имеющее законченную форму, — и ничего не выходит. Все рассыпается снегом, перьями из разодранной перины, конфетти из хлопушки, и ты бегаешь как дурак, хватаясь за мелкие частички, просыпающиеся сквозь пальцы. Все воспоминания взрываются на части и исчезают при попытке их материализации, как исчезает привидение родного умершего человека, когда окликаешь его по имени.

Дымчатая, сизовато-фиолетовая акварель четырехчасовых декабрьских сумерек разлита по трехкомнатной хрущевке. Она забивается в углы, становится там тяжелее и гуще. Силуэты домашних — синие, как на чашках Ломоносовского фарфорового завода. Света совсем немного, он едва пробивается сквозь занавеску замороженных стекол балкона и как-то стыдливо висит в комнате, как советский дырявый тюль.

Отчего-то я сплю посреди зала на полосатых, оранжево-желтых, накрытых дубленкой санках. То ли уложить меня днем было в целом проблематично, поэтому домашние соглашались на любые варианты, то ли я была таким эксцентриком (кажется, еще я спала в специальной детской ванне-корытце) — помню только, что бабушка ничему не удивлялась. Но приходила холодная мама в каракулевой шубе, превращающей человека в квадрат, и я, бессовестная вымогательница, бросалась на нее и потрошила сумки, из которых выпадали всевозможные чудеса: золотая самоклеющаяся бумага, электрическая орущая голова Деда Мороза, длинная замороженная рыба, больше похожая на палку колбасы. Потом мы ели жареную рыбу и, найдя в ней икру, говорили, что год будет удачным. Свет горел только на кухне, и оттого казалось, что, кроме кухни, нет больше в этом запустелом, оставленном мире другой жизни.

Между мамой и бабушкой, как линия огня на фронте, проходил несокрушимый барьер конфронтации в вопросе предновогоднего декора малогабаритной квартиры. Мама была за скандинавскую сдержанность и лаконизм, бабушка — за блестящий

советский шик. После некоторое время продолжающихся воплей мама, посмотрев на нас, как на революционных варваров, орунующих в Зимнем дворце, бросала: «Делайте, что хотите», и бабушка с хитрой улыбкой начинала замешивать клейстер, чтобы готовить всю свою снежную бутафорию. 1:0 — радовалась я в душе за бабушку. Наутро сверху свисал «дождик» — серебристые нити мишуры, прикрепленные к кусочкам ваты, которые, в свою очередь, были прикреплены к потолку. Мама горевала по пропавшему пенопластовому — белые накладные панели в мелкий цветочный узор — потолку, мне казалось, что этому потолку уже ничего не может повредить. Елки же у нас всегда были живые (но, конечно, с разной степенью этой живости). Была лысая елка, которую мама купила на последние пятьдесят рублей. Увидев ее, я разрыдалась и, чтобы не обидеть маму, соврала, что плачу, потому как забыла рассказать, что получила тройку. Была елка, которую привез из тайги крестный. Никогда не спрашивайте наглых женщин, вроде меня, что привезти. Паша имел неосторожность спросить, и я — губа не дура — заказала елку. Если бы Паша жил в XIX веке, он бы точно стрелялся на дуэлях, потому что есть на свете дела чести. Привязав завернутую в простыню ель к своей спине, под шквалом острых даже не снежинок, а каких-то мерзлых острых игл, под бубнеж друга-зануды, боящегося, что их вместе арестуют за браконьерство, Паша таки доставил дерево в срок.

Мы уехали из старой квартиры на окраине, потому что в ней умерла Олеся, потому что святая вода в банках, составленных в углу, замерзла там в лед, потому что соседи сверху лупили друг друга так, что, кажется, могли к нам провалиться. Все преимущества жизни в центре были оценены нами сразу же, особенно мы были впечатлены доступностью зимнего снежного городка на площади Сахарова. Вполне еще здоровая, сильная бабушка приводила меня на площадь, и мы долго рассматривали стены из ледяных кирпичей с заключенными внутри вечным мерзлым пленом рыбами (кирпичи делали прямо из обского льда). Меня несколько не печалила судьба застрявших рыб, но бабушка на всякий случай говорила, что потом их вернут назад и они оживут (почти как море отдает своих мертвецов — только наоборот).

Апогеем всего был фейерверк. Как люди, впервые увидевшие фильм братьев Люмьер, были напуганы до смерти надвигающимся поездом, так и я боялась фейерверка. Обладая природной изобретательностью, я обманным путем (притворилась, что умираю от обморожения ног) увела маму и бабушку с площади Сахарова, не дав до конца насладиться нехитрой радостью, и лишь дома призналась в том, что истинной причиной ухода было опасение того, что «нам все глаза этим огнем повышибут».

...Сейчас бабушка смотрит на меня помутневшими глазами с размытой радужкой, иногда называет именем своего брата, иногда просит посидеть у нее на коленях, забывая, что мне не пять и я вешу не двадцать килограммов. Но потом, как чиркнувшая спичка в лесу, что-то промелькнет у нее в глазах, и она тянет ислепевшей пергаментной рукой мою руку к своему кривящемуся рту, а я огрызаюсь, что, мол, не патриарх, чтобы мне руки целовать. Лет десять она не делает «дождик» из мишуры, не варит клейстер, не мусорит бумагой от вырезанных снежинок на ковер и не выходит на улицу. Когда ее везут в больницу в социальном такси, мама пытается заново показать ей город: вот администрация, университет, Никольская — но бабушка соглашается, что видит и узнает с притворством человека, которому показываешь где-то на горизонте птицу, а он, не в силах ее разглядеть, говорит, что заметил. Мир как-то схлопнулся для нее, и сколько ни пытаешься заставить себя думать, что она — это она, мне все кажется, что на ее месте сидит кто-то другой, из ее тела говорит другой, а она настоящая, та, что в коричневом пальто с котиковым воротником показывает мне замороженных рыб, стуча голыми пальцами (не носила варежек, у нее никогда не мерзли руки) по льду этим рыбам, куда-то скрылась от меня, как постепенно уходит в кровожадную глубь лицо человека, которого хоронят в проруби.

Но где-то в других метафизических координатах, наверное, есть семья, которая все сидит под сенью кухонного абажура, и тьма их не одолевает. Помню еще, что Рождество было больше, чем Новый год, что, приходя со всеобщей, я замечала, как от света лампы Ломоносовский фарфоровый завод куда-то исчезал, и все становилось мягким, пульсирующим, зыбким, восковым

и песчаным одновременно, и подарки приносил мне не казенный Дед Мороз, а почему-то Николай Чудотворец.

2

Мне пятнадцать. Он красив, как Аполлон, и глуп, как дерево. Он утверждает, что был исключительно умен, но то ли перестарался, то ли что-то пошло не так, и поэтому планы на жизнь пришлось изменить — вместо математического поступать на физкультурный. Я охотно верю этому и поверила бы, даже если бы он сказал, что его послали ко мне с Марса. Из всех развлечений в уездном городе Б. нами выбраны, во-первых, вечерние прогулки по бывшему кладбищу (а ныне — парку), видимо, с прицелом, что он сможет проявить свою храбрость, если придется столкнуться с трансцендентными силами, во-вторых, катания на троллейбусе за его счет (опять же — не очень холодно, дешево и сердито). Он не любит меня, и все, что между нами было (а ведь ничего не было), спето в «Восьмикласснице» Цоя. Но — странное дело — я не то чтобы печалюсь из-за его нелюбви. Я внимательно читала русскую классическую литературу и знала, что пятнадцать лет — это уже безнадежно много, но тут выясняется, что моя сердечная мышца умеет еще кое-что, кроме как осуществлять перегонку крови; и я смотрю на себя, как на подопытную в каком-то чуть-чуть жестоком эксперименте. Так мы гуляли всю зиму, мы шли по кладбищу-парку, и мне казалось, что снег тает под подошвами моих ботинок и на тропинке остается цепочка черных следов. Дома же выяснялось, что ног я не чувствую, что они близки к какой-то там стадии обморожения. Я опускала их в тазик с горячей водой, и белые пальцы-сардельки постепенно приобретали здоровый мясной оттенок. Я разлюбила его, когда снег растаял.

3

Мне двадцать. Я очнулась на заднем сидении трясущейся по дороге где-то между заснеженными алтайскими полями маршрутки. И нет — это не начало дешевого детектива. Вообще,

есть некий мотив паломничества в почти любом путешествии по нашей необъятной — дальше сами знаете. Чтобы добраться из города С. в город Б., нужно немного претерпеть. Прилетев ночным рейсом из невзаправдашной, поддельной, бесснежной питерской зимы в ледяную стужу города Н., засыпаю в междугородней маршрутке и просыпаюсь только где-то на подступах к родным пенатам. Просыпаюсь от разящего света и цвета, белого, как больница. Процарапываю кругляшок в замерзшем стекле, отогреваю его, слепну и радуюсь своей слепоте. Я пропустила, как двоечник-прогульщик, всю осень, всю зиму, не видела, как умирали деревья, не знала, как поля хоронили под снегом. В Петербурге нет зимы — там вообще нет времен года. И я лечу куда-то в глубокий-глубокий туннель-колодец, как в детстве, когда мне подарили собаку, я побежала с ней гулять, увязла в снегу и упала в обморок от счастья.

На остановке у придорожного кафе на трассе женщина, укутанная в старую шаль, подпрыгивает, опираясь на колеса огромных фур, заглядывает в лица дальнобоев и просит дать немного на корм вертящейся около нее и помахивающей хвостом-колечком собаке. Шаль — точь-в-точь, как была когда-то у моей бабушки, и даже дырки, проеденные молью, вроде в тех же местах. Где-то внутри меня как будто большой зуб, только без точного места локализации. Я пытаюсь выбраться из маршрутки, но водитель кричит мне сердито: «Куда уж? Сейчас поедем», и я послушно остаюсь, прислоняюсь теплым лбом к холодному, покрытому наледью стеклу. Водитель стоит еще несколько секунд, бросает окурочек в сугроб, и на белом снежном холсте остается только черный ореол пулевого ранения.

БИБЛИОТЕКА

Даже если сесть посреди дороги, простите, т.е. направления, где-нибудь во Внутренней Монголии и долго ждать, ничего не делая, все равно на твоих глазах рано или поздно произойдет что-нибудь значимое. Библиотека — вроде бы не самое

подходящее место для экшена, но и там иногда случается кое-что, дающее пищу для ума и повод для слегка ироничной улыбки.

1

В целом при должном уровне усидчивости и смирения разобраться в каталогах библиотеки не так уж и сложно. Не нужно обладать дедукцией/индукцией Шерлока, чтобы отыскать нужную книгу, однако кое-какие заминки все равно бывают. Библиотечная система такова: все издания до 1957 года хранятся в старом здании, после — в новом соответственно. Однако электронный каталог упрямо показывает, что нужный мне журнал начала XX века находится в новом здании, но такого быть не может, как деления на ноль. Меня отправляют за разъяснениями к библиографу. Не успела я дойти до места обиталища библиографов, как меня встречает некто: «Здравствуйте! Чем я могу помочь?» «Вот сервис!» — думаю я. По мере объяснения моей проблемы я чувствую, что кровь в жилах библиографа потихоньку начинает закипать, желваки под кожей — пульсировать, глазные яблоки — вращаться, а сам он начинает слегка сотрясаться от каких-то импульсов, как будто к нему подвели электрод. Кажется, что изнутри его распирает сжатый пар, и, если не снять клапан, он взорвется, как исландский вулкан с невыговариваемым названием. Библиограф бросается к компьютеру, стучит по клавишам и, наконец, разряжается: «Это же Руссланд! Сплошная бюрократия! Чего вы хотите? У нас все через ж..., даже выдача книг в библиотеке! Это Руссланд, девушка! Валить отсюда надо! Валить!» Потом библиограф бежит в то место, откуда меня отправили — я бегу за библиографом. Этот же монолог он повторяет перед нивчемнеповинными, смиренными и тихими, как моль, служительницами библиотеки, приправляя его для большей убедительности общенной лексикой. Когда вспышка гнева проходит и температура спадает до нормальных показателей, сотрудницы мне шепчут: «Вы к нему больше не подходите».

Причина, почему журнал был не в положенном ему месте, оказалась прозаична: в электронном каталоге указали не сам журнал,

а его оттиск, сделанный уже после 1957 года. Я вот думаю: если эта заминка вызвала такую бурю, то что же этот библиограф — гнев Божий — делает в поликлиниках, администрациях и МФЦ, где даже у самого дзен-буддистски настроенного человека веко левого глаза начинает нервически подергиваться?

2

В одном из читальных залов библиотеки завелся маньяк. Особые приметы: рост выше среднего, плотного телосложения, носит старый кожаный портфель а-ля Жванецкий и очки в роговой оправе, на вид — лет восемьдесят. Читает книги только об Ахматовой и Гумилеве. Втершись в доверие к какой-нибудь юной особе декламацией стихов поэтов Серебряного века, он крадет у нее как минимум час, смакуя никому не нужные и, возможно, не существовавшие в реальности подробности этого странного брака Анны Андреевны и Николая Степановича, а в конце без обиняков предлагает: давай поцелуемся. Что интересно — объекты внимания библиотечного маньяка обычно свежи как розы — во всяком случае, я никогда не видела, чтобы он пытался так обрабатывать своих ровесниц.

Меня терзают два чувства. Первое — отвращение. С чего он решил, что пожилой мужчина с нездоровыми фантазиями может красть время у молодости, почему он, пахнущий стариком, может целовать сморщенными губами — пусть даже невинно в лоб — этих девушек, пахнущих без всяких «Герленов» летом? Но ведь и девушки хороши — они же не убегают от него с криками «Харассмент». Я много раз прокручиваю в голове возможные сценарии того, как поступить, если он подойдет ко мне. Додумалась до того, что самой смешно: изображу немую, если он начнет со мной разговаривать.

Второе — почти жалость. Я понимаю, что любви все возрасты покорны, но все же для молодости — волнение и трепет сердца, для старости — благословенный покой, и поэтому от его поползновений возникает ощущение неловкости, как от неверно расставленных запятых. Может быть, он приходит из библиотеки

в стильную сумеречную комнату в коммуналке, ставит облупленный чайник, сидит, пьет «Принцессу Нури» за сорок рублей и думает о своем случайном разговоре, уверяя себя, что он не последний человек, раз его слушают и даже разрешают ему поцеловать себя. В конце концов, он не проживет девятьсот мафусаиловых лет, настанет момент, когда кто-то уже его должен будет целовать в лоб, но только существуют ли такие люди, я не уверена.

3

Я только доела в столовой картошку и поставила поднос на стол для грязной посуды, как меня на выходе настиг некий мужчина. Нет, слава Богу, не тот, про которого писала выше. По сравнению с предыдущим — весьма молод, лет пятьдесят, не больше. Кажется, иностранец, хорошо изъясняется по-русски со слегка заметным европейским акцентом. Говорит, что, когда читал «Евгения Онегина», представлял Татьяну Ларину так, как я сейчас выгляжу.

Моя бабушка (нет, не курит трубку) весьма строгих, пуританских даже, нравов и, когда жила в деревне в молодости, отбивалась от незадачливых ухажеров коромыслом (в прямом смысле). Я — в бабушку. Я смотрю на этого читателя «Евгения Онегина», и во мне медленно сжимается пружина, готовая вот-вот распрямиться. Но ничего далее за литературным сравнением не следует, целоваться не предлагает. Я бурчу что-то невнятное в ответ и бегу к лифту, в зеркале которого отражается мое зимнее бледное лицо с темными кругами под глазами; пружина ослабевает, и в голову лезет типично женское: это я еще ненакрашенная.